

Т. КИНОСИТА

ОБРАЗ МЕЧТАТЕЛЯ:  
ГОГОЛЬ, ДОСТОЕВСКИЙ, ЩЕДРИН

В творчестве многих, в том числе русских, писателей XIX столетия существенное значение приобрел романтический тип *мечтателя*. В 30—40-х гг. в произведениях Гоголя, Герцена, Салтыкова-Щедрина, Достоевского можно проследить его появление и эволюцию: именно в эти годы в интеллектуальной и духовной жизни России отчетливо выявились острые противоречия между высокими идеалами и пошлой действительностью, губительной для человеческой личности.

Достоевский первым в русской литературе дал обобщенное определение социально-психологической сущности мечтателя. Мечтательство, писал он, особенно проявляется в характерах, «жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных». В них, продолжал свою мысль писатель, «зарождается то, что называют мечтательностью, и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — *мечтателем*» (18, 32).

И здесь мне хотелось бы вспомнить слова выдающегося японского поэта конца эпохи Мэйдзи, Исикава Такубоку (1886—1912): «„Нет ли чего-нибудь интересного?“ — этот романтический вздох исходит из душевных глубин каждого» («Стеклянное окно»).

«Романтизм — это порождение слабых сердец» («Сигаретка»).

Для того чтобы лучше понять эти два высказывания Исикава Такубоку, необходимо реально представлять себе то время, когда мысли о романтизме преследовали выдающегося японского поэта. Это был 1910 год, принципиально важная дата для всей японской литературной и общественной мысли, когда монархия начала так называемое «дело о великой измене» — судебный процесс против Котоку Сюзуй и его товарищей. Это событие глубоко всколыхнуло души японской интеллигенции. Откликнулся на него и Исикава Такубоку: он написал статью «Современный застой в стране» (статья при жизни Такубоку не была опубликована). В ней поэт обвинил власть и господствующие классы в том, что обстановка в стране крайне накалена, а в кругах интеллигенции царит атмосфера всеобщей подавленности.

Эти мысли Исикава Такубоку высказывал и в других своих статьях того же периода, и, на наш взгляд, они имеют внутренне мотивированную связь со статьей «Современный застой в стране».



Так, в статье «Стеклянное окно», о которой мы уже упоминали, на вопрос: «Нет ли чего-нибудь интересного?» — поэт отвечает: «В среде современной молодежи на этот вопрос, как правило, откликаются: „Нет, ничего интересного“, — и замолкают, оставляя в сердцах раздражающий, неприятный осадок...».

И, думается, не случайно в написанном задолго до этого фельетоне Достоевского «Петербургская летопись» (1847), где так точно характеризовался тип мечтателя, можно найти аналогичное заключение: «Я часто замечал, что, когда два петербургских приятеля сойдутся где-нибудь между собою и, поприветствовав обоюднo друг друга, спросят в один голос — *что нового?* — то какое-то пронзающее уныние слышится в их голосах, какой бы интонацией голоса ни начался разговор. Действительно, полная безнадежность налегла на этот петербургский вопрос» (18, 11).

И Достоевский, и Исикава Такубоку указывают на аналогичную ситуацию психологической подавленности, господствующей в обществе и порождающей романтический протест — мечтательность, которая, в свою очередь, ведет личность еще дальше по пути рефлeктирующего самосознания.

С нашей точки зрения, подпольного Парадоксалиста Достоевского необходимо рассматривать как определенный этап эволюции типа мечтателя: об этом свидетельствует и авторское предисловие, и поведение героя во второй части повести «Записки из подполья». Но если Парадоксалист — конечный этап, где надо искать начало этого типа?

Попытаемся рассмотреть в этой связи образ Пискарева из «Невского проспекта» Н. В. Гоголя. На первый взгляд кажется, что Пискарев и Парадоксалист полярно отличаются друг от друга в основных критериях — в понимании красоты вообще (в данном случае — красоты женской) и в отношении к любви.

Для гоголевского героя (и для самого автора) красота может быть лишь чистой и непорочной; для Пискарева невыносима мысль о том, что чудесная женская красота совместима с развратом. Поэтому история Пискарева имеет для нас многозначный символический смысл: Пискарев воспринимается нами как наивный мечтатель, не осознающий различия между мечтой и действительностью в отличие от героя Достоевского, который воспринимает мечту и действительность в их антинoмичности.

Потрясенный открывшимся Пискарев бросился со всех ног бежать из «приюта разврата». Разочарование, испытанное героем, Гоголь сравнивает с разочарованностью бедняка, нашедшего жемчужину и тут же выронившего ее в морские волны. Но главным для нас является последующий гоголевский комментарий, отчетливо характеризующий не столько героя повести, сколько (и этот особенно важно) тот *тип*, о котором идет речь. В размышлениях Гоголя мы находим модель отношения к красоте на начальном этапе мечтательства: «В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворнымдыханием разврата. Пусть бы еще безобразие дружилась с ним, но



красота, красота нежная... она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях».<sup>1</sup> Нельзя не заметить, как своеобразно и самобытно взаимосвязаны эти слова с часто цитируемой мыслью Дмитрия Карамазова: «Красота! <...> Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут <...> Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы» (14, 100).

Подобный поворот точки зрения на красоту от Гоголя к Достоевскому, можно сказать, подобен «коперниковскому перевороту»<sup>2</sup> в малом масштабе, как назвал М. Бахтин эволюцию отношений автора к герою, происшедшую со времен Гоголя к временам Достоевского.

В художественной галерее Достоевского встречается множество портретов, красота которых амбивалентна, отражает борьбу добра и зла, нежности и озлобленности, благообразия и порочности. Это и Катерина в «Хозяйке», и Настасья Филипповна в «Идиоте», и Аглая Епанчина из того же романа, Грушенька и Катя в «Братьях Карамазовых». Но такими бывают у Достоевского не только женщины, достаточно вспомнить князя Валковского («Упавшие и оскорбленные»), Свидригайлова («Преступление и наказание»), Ставрогина («Бесы»), Тоцкого («Идиот»), чтобы понять: в героях Достоевского столь же причудливо смешаны два мира — «идеал Мадонны и идеал содомский»...

Механизм соединения элементов красоты (внешней) и извращенности (внутренней, духовной) впервые возник у Достоевского в «Записках из подполья».

Однако мы несколько забежали вперед. Вернемся снова к гоголевскому Пискареву.

Потрясенный и до глубины души взволнованный, он пытается обрести утраченный образ красавицы во сне. И в конце концов, пишет Гоголь, «сновидения сделались его жизнью, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. Если бы его кто-нибудь видел сидящим безмолвно перед пустым столом или шедшим по улице, то верно бы принял его за лунатика или разрушенного крепкими напитками; взгляд его был вовсе без всякого значения, природная рассеянность наконец развилась и властительно изгоняла на лице его все чувства, все движения. Он оживлялся только при наступлении ночи».<sup>3</sup>

Так происходит превращение: Пискарев становится первым в ряду русских героев-мечтателей, открытых нам позже, в творчестве Достоевского, Герцена, Салтыкова-Щедрина. В цитирован-

<sup>1</sup> Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [Л.], 1938. Т. 3. С. 22.

<sup>2</sup> Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 82.

<sup>3</sup> Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 28.



ном выше фельетоне «Петербургская летопись» Достоевский рисует несколькими штрихами обобщенный портрет мечтателя, похожего на гоголевского Пискарева: «Вы иногда встречаете человека рассеянного, с неопределенно-тусклым взглядом, часто с бледным, измятым лицом, всегда как будто занятого чем-то ужасно тягостным, каким-то головоломнейшим делом, иногда измученного, утомленного как будто от тяжких трудов, но в сущности не производящего ровно ничего, — таков бывает мечтатель снаружи» (18, 32).

Но есть одно существенное различие: для Достоевского мечтатель является одновременно и «кошмаром петербургским», и силой, вдохновляющей его на создание произведений особого характера. Для Гоголя мечтательство есть начало физической гибели героя. Пискарев оставлен даже сном, он начинает употреблять опиум, который снова возвращает несчастному художнику утраченную прекрасную незнакомку: она видится Пискареву его женой, и это видение рождает в воспаленном мозгу художника новые мысли: «Может быть, думал он, она вовлечена каким-нибудь невольным ужасным случаем в разврат; может быть, движения души ее склонны к раскаянию; может быть, она желала бы сама вырваться из ужасного состояния своего. И неужели равнодушно допустить ее гибель и притом тогда, когда только стоит подать руку, чтобы спасти ее от потопления?».<sup>4</sup>

Мечты Пискарева ведут его все дальше и дальше: вот он уже и женится на ней, совершая поступок великий и бескорыстный, да и как иначе, ведь он призван, по его мнению, «возвратить миру лучшее его украшение». Тщательно принарядившись, Пискарев вновь отправляется к своей мечте — и вновь видит перед собой свой идеал, «оригинал мечтательной картины». Собравшись с духом, дрожащим и вместе с тем пламенным голосом Пискарев начал рисовать ей то ужасное положение, в котором она пребывает...

Эта сцена в какой-то мере предвосхищает монолог Парадоксалиста («Записки из подполья»), когда он терзает Лизу всплесками своей желчной фантазии. Хотя при внешнем сходстве ситуации монологи героев Гоголя и Достоевского контрастны по дальнейшему своему развитию и, главное, по своему результату.

Красноречие Парадоксалиста, его «жестокий талант», с которым он описывает Лизе ее грядущую страшную судьбу, тщательно изображены Достоевским. Мы не знаем, с какими словами, как именно обратился Пискарев к прекрасной незнакомке. Что же касается реакции женщин — она дана словно по контрасту.

В отличие от потрясенной до глубины души Лизы красавица Гоголя отнеслась к монологу Пискарева насмешливо, с презрением: «Как можно!.. Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою». И Пискарев бежал — теперь уже навсегда; он заперся в своей комнате, а через неделю был найден его труп. «Окровавленная бритва валялась на полу».<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Там же. С. 30—31.

<sup>5</sup> Там же. С. 32, 33.



Таков мечтатель 30-х гг. И гибель мечтателя Пискарева знаменательна для нас в свете той эволюции, которую прошел тип героя за три десятилетия. Парадоксалист Достоевского — это уже мечтатель совсем иной эпохи, 60-х гг.

Контраст между ними заключается, по крайней мере, в двух существенных моментах. Во-первых, в полном различии понятия прекрасного (красоты), во-вторых, в столь же разительном отличии по отношению к «падшей» женщине.

Смерть Пискарева представляется особенно грустной даже по сравнению со смертью Акакия Акакиевича («Шинель»), который после смерти, по крайней мере, стал привидением, отомстил своим мучителям. Смерть Пискарева была страшной — об этом позволяют догадаться его широко раскинутые руки и судорожно искаженные черты лица; некому оплакать его, никого нет возле трупа... «Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту; за ним идучи, плакал один только солдат-сторож и то потому, что выпил лишний штоф водки».<sup>6</sup>

Осмысляя контрастность двух типов мечтателей, нельзя пройти мимо высказывания С. Г. Бочарова, заметившего, что Гоголь и молодой Достоевский связаны как вопрос и ответ.<sup>7</sup>

Вспомним, что Макар Деушкин читал «Шинель», но отнесся к ней как к «пасквилю», «подглядыванию». И совсем иначе читал этот же герой «Станционного смотрителя» Пушкина. Таким образом, думается, Бочаров имел все основания сделать вывод, что Достоевский разрушает гоголевский синтез. И для тематики, избранной нами, утверждение исследователя представляется весьма существенным.<sup>8</sup>

Можно сказать, что отношение Парадоксалиста Достоевского к миру, к красоте и к идеалу вообще берет свое начало именно от той точки, в которой начинается разочарование, а потом и гибель Пискарева. При этом необходимо подчеркнуть различие творческих методов двух писателей: у Достоевского противоречия между идеалом, красотой и действительностью не остаются в рамках авторского монологического созерцания, а переносятся в сознание самого героя (об этом убедительно писал Бахтин), в то время как у Гоголя все оценки и выводы остаются за автором.

Пискарев, можно сказать, возрождается именно в этом самосознании Парадоксалиста: основу своего существования герой

---

<sup>6</sup> Там же. С. 33.

<sup>7</sup> Бочаров С. Г. Переход от Гоголя к Достоевскому // Смена литературных стилей. М., 1974. С. 42.

<sup>8</sup> Здесь представляется не только уместным, но и целесообразным привести высказывание В. Я. Кирпотина: «После каторги и Сибири, в фельетоне „Петербургские сновидения в стихах и прозе“, Достоевский снова вспоминает Гоголя — и „Шинель“, и „Записки сумасшедшего“, и заброшенность одинокого филантропического, или сентиментального, мечтателя. и обманной, фантастической туман, обволакивающий жизнь северной столицы» (Кирпотин В. Я. Достоевский-художник. М., 1972. С. 69). К этому периоду относится работа над повестью «Записки из подполья».



Достоевского находит в разрушении идеи красоты, доведшей Пискарева до самоубийства.

Гоголь глубоко осознал парадоксальность мироздания; после гибели Пискарева, к которой подтолкнула его самая мысль возможности сосуществования божественного идеала красоты с уродством действительности, Гоголь со вздохом замечает в конце повести: «Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша! <...> Все происходит наоборот».<sup>9</sup>

Внимательно вчитываясь в слова писателя, мы не найдем в них тем не менее вызова мечтателя несправедливому порядку. И этим отличается, на наш взгляд, тип мечтателя 30-х гг. (личность, которую противоречия миропорядка ранят до такой степени, что она может покончить с собой): его душа и ум не в состоянии вместить парадоксы жизни.

Своего «подпольного человека» Достоевский не случайно называет Парадоксалистом — это принципиально иной тип, который уже не может безропотно принимать парадоксы мироустройства, относясь к ним чисто созерцательно. Парадоксальность как бы становится его сущностью, основой основ. Характерно в этом смысле признание Парадоксалиста: он объявляет, что «не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезней <...> Чем больше я сознавал о добре и о всем этом „прекрасном и высоком“, тем глубже я и опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней. Но главная черта была в том, что все это как будто не случайно во мне было, а как будто ему следовало так быть» (5, 102).

Эти приливы «прекрасного и высокого», по признаниям героя во второй части повести, приходили к нему лишь в мечтах, а мечты, особенно сладкие и сильные, посещали его «после развратика, приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами» (5, 132).

Эти же приливы служили одновременно и своеобразным «соусом» для «развратика», оживляя его контрастностью положений и ситуаций. «Соус тут состоял из противоречия и страдания, из мучительного внутреннего анализа» (5, 133).

Уже эти выбранные цитаты красноречиво свидетельствуют о том, какую эволюцию претерпел на протяжении двух десятилетий тип мечтателя от Пискарева до Парадоксалиста. В отличие от Пискарева, который «бросился со всех ног, как дикая коза, и выбежал на улицу»,<sup>10</sup> Парадоксалист начинает «без любви, грубо и бесстыже <...> прямо с того, чем настоящая любовь венчается» (5, 152). И одновременно он осознает себя «пауком», живущим нелепым и отвратительным развратом. Красноречиво живописуя горькую участь Лизы, раздирая ее душу, Парадоксалист, казалось бы, сострадает ей. В действительности же, когда через несколько дней Лиза приходит к нему в поисках настоящего, неподдельного сочув-

<sup>9</sup> Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 45.

<sup>10</sup> Там же. С. 21.



ствия и спасения, он грубо отталкивает несчастную женщину, начиная новые атаки и предсказания.

Подобное раздвоение слов и поступков, думается, берет истоки в осознании кричащего противоречия между мечтой и действительностью: в своих мечтах герой — благородный спаситель падшей женщины, в действительности же он — жалкий бедняк, который больше всего боится, что Лиза увидит его нищету, внешнюю и духовную. И сама мысль о том, что Лиза увидела это, невыносима для Парадоксалиста. Исполненный желчи и раздражения, он не в силах сдержать себя и взрывается именно от того, что не может вырваться из замкнутого порочного круга осознания своей бедности, стремления замаскировать ее, гипертрофированного тщеславия, ощущения мерзости своего надуманного поступка. В этом эпизоде повести Достоевского для нас особенно важным представляется осознание Парадоксалистом того, что оскорбленная Лиза поняла главное: «... поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренно любит, а именно: что я сам несчастлив» (5, 174).

С тем же взглядом героини, прозревающей несчастье героя, пробивающееся в нем даже сквозь панцирь гордыни, мы встречаемся в романе «Преступление и наказание», в сцене одного из свиданий Сони и Раскольниковова.

Можно, на наш взгляд, смело утверждать, что подобная прозорливость, которой наделяет своих героинь Достоевский, — это его собственная прозорливость, составляющая в полифонической природе мира произведений Достоевского необходимый момент постижения психологической сущности его героев.

Что означает для Парадоксалиста любовь? Любить, по его мысли, значит, «тиранствовать и нравственно превосходить» (5, 176). Он не может представить себе любовь иначе, как добровольно дарованное любимым предметом право тиранствовать над ним. А Лиза, зорко прозрев неспособность этого человека ни к любви, ни к милосердию, молча ушла от него. Так проблема противоречий идеала (красоты) с действительностью из сферы эстетической перерастает в этическую.

Самосознание личности Парадоксалиста и внешний мир всегда не в ладах, между ними существует и крепнет антагонизм, именно поэтому осознание собственной слабости, духовной нищеты для него невыносимо: он должен постоянно защищать себя подозрительностью, даже агрессивностью от всех и вся. Эта функция его самоосознания порождает и определенный комплекс психологических элементов.

Трагизм этого «антигероя», Парадоксалиста, Достоевский увидел «в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!» (16, 329).

В связи с этим прозрением великого писателя психологии подполья особую важность приобретают для нас записки Достоевского



от 16 апреля 1864 г. у гроба его первой жены, Марии Дмитриевны Исаевой, именно в то время, когда он работал над рукописью второй части повести «Записки из подполья». Там мы встречаем глубокие размышления о проблеме соотношения любви к людям и собственного «я».

В противопоставление мыслям Парадоксалиста Достоевский утверждает возможность идеала слияния собственного «я» с человечеством и видит в этом залог величайшего счастья всех живущих. Полностью отдавая себе отчет в напряженности противоречий между личностью и окружающим миром, автор «Записок из подполья» воплощает мысленно этот идеал в образе Христа, вследствие появления которого «стало ясно как день, что высочайшее последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели) <...> что <...> как бы уничтожить это „я“, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно» (20, 172).

Достоевский приходит к этой мысли как бы от противного, от философии и логики Парадоксалиста. Но заметим, что в рассуждениях великого писателя тоже есть элементы парадокса.

«... Если это цель окончательная человечества, — пишет он, — (достигнув которой, ему не надо будет развиваться, то есть достигать, бороться, прозревать при всех падениях своих идеал и вечно стремиться к нему, — стало быть, не надо будет жить) — то, следовательно, человек, достигая, оканчивает свое земное существование <...> Но достигать такой великой цели, по моему рассуждению, совершенно бессмысленно, если при достижении цели все угасает и исчезает...» (20, 172—173).

Итак, по мысли Достоевского, человек на земле всегда останется существом развивающимся, переходным, а не завершенным.

Близкую мысль (однако в несколько ином контексте) мы находим в повести Салтыкова-Щедрина «Противоречия» (1848). Герой этой повести, Нагибин, в одном из писем к товарищу утверждает: «Человек не один на земле; вне его существует другой, отличный от него мир, который он должен, однако ж, понять, как необходимое дополнение себе, — скажу более, без которого он сам себя понимать не может. И в этом-то усвоении человеком внешнего мира, в этом уяснении отношений своих к нему и состоит главная задача, весь смысл его жизни <...>

Вы спросите, может быть, меня, что же будет, когда человек исполнит свою задачу, когда он определит свои отношения к внешнему миру, когда эта столько лет разрозненная антиномия — человек и внешняя природа — сольется наконец в один величественный синтез? Отвечаю: тогда прекращается прогресс человека, тогда наступает период его успокоения, и так как жизнь обуславливается движением и исключает идею инерции — наступает период смерти...»<sup>11</sup>

У Салтыкова-Щедрина в отличие от Достоевского нет тенден-

<sup>11</sup> Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. М., 1965. Т. 1. С. 74—75.



ции к религиозному разрешению вопроса. По Достоевскому, «бессмысленно <...> если не будет жизни у человека и по достижении цели. Следственно, есть будущая, райская жизнь» (20, 173). По Салтыкову-Щедрину, «результатом всех этих систем лежит одна и та же венчающая их идея счастья, равносильная смерти».<sup>12</sup>

Для обоих писателей общим является акцентирование непреодолимого противоречия между личностью и человечеством, между собственной внутренней целостностью и разорванностью всего окружающего мира. И важен вопрос: что же будет с человеком в результате полного осознания этих противоречий?

Пискарев покончил с собой, не выдержав груза противоречий. Парадоксалист пытается противопоставить всему миру свой желчный субъективизм. Нагибин избирает как единственно возможную для себя форму существования беспристрастное созерцание; он примирился с невозможностью разрешения противоречий, оставил какие бы то ни было надежды на активность жизни, способную изменить что-то...

Нагибина мы можем воспринимать как прямого литературного «потомка» Пискарева: он столь же глубоко пропитан сознанием парадоксальности мира, он тоже принимает ее как должное. По словам Нагибина, «всеми нами управляют обстоятельства, все мы не что иное, как послушные и покорные рабы необходимости, и поэтому величайший герой делается трусом в таких обстоятельствах, где трус делается величайшим героем».<sup>13</sup> И далее он рассуждает: «Тот, кому природа, казалось бы, дала все, чтобы быть великим мыслителем, великим государственным человеком, в действительности тачает весьма дурные сапоги или управляет с козел измученною парой лошадей; вы увидите, что некоторые забрали на свою долю слишком много назначений, а другие вовсе остались без всякой определенной роли, живут со дня на день и клянут ту несчастную минуту, в которую увидели они свет».<sup>14</sup>

Неужели подобное мировосприятие не было знакомо героям Гоголя и Достоевского?

Дело здесь, думается, в том, что подобные жизненные ситуации герои Гоголя и Достоевского склонны толковать как предопределение судьбы, рок, в то время как герой Салтыкова-Щедрина рассматривает те же ситуации как некий комплекс, обусловленный обстоятельствами. Но, несмотря на это, критика Нагибиным социальных обстоятельств представляется нам не только парадоксальной, но и иронической с начала до конца: она с первых слов пронизана критикой мечтательности, а кончается признанием собственной мечтательности.

Характеризуя письма своего юного адресата словами «юная, благоухающая элегия», Нагибин пишет: «Это, коли хотите, довольно неестественное состояние <...> потому что пожирающая нас

---

<sup>12</sup> Там же. С. 75.

<sup>13</sup> Там же. С. 133.

<sup>14</sup> Там же.



жажда привязанности не имеет предметом чего-либо действительного, напротив, мы с каким-то презрением отворачиваемся от той среды, в которой живем, и создаем себе особый мечтательный мир, который населяем призраками своего воображения <...> одним словом, такой мир <...> где по манию нашему являются <...> чудные, светлоокие женщины с распростертыми объятиями, с жгучими поцелуями и неиссякаемою негой в глазах...».<sup>15</sup>

Перед нами нечто иное, чем мечтательный мир Пискарева, — скорее, этот образ близок миру Парадоксалиста в молодости. Критикуя романтизм, Нагибин советует младшему товарищу: «Пора нам стать твердою ногою на земле, а не развращать себя праздными созданиями полупьяной фантазии».<sup>16</sup>

И, несмотря на такое жестокое утверждение в начале повести, в конце ее, пережив любовь к Тапе, Нагибин признает: «А отчего все это? Оттого, что мне не дано практического понимания действительности, оттого, что ум мой воспитали мечтаниями, не дали ему окрепнуть, отрезвиться и пустили наудачу по столбовой дорожке жизни! <...> И когда навели меня на истинный путь, когда указали мне, что все в жизни имеет связь и смысл, что нелюбовь существует в моем воображении, а на деле все понятно и стройно, когда я сознал все это — было уже поздно!».<sup>17</sup>

Приведенные цитаты, думается, дают нам основание считать Нагибина представителем того же типа героев, который рассматривался нами выше. Очень важным представляется тот факт, что Нагибину, как и Парадоксалисту, действительность всегда является амбивалентной. По наблюдению Нагибина, в будничных характерах «как-то спокойно стоят себе рядом вещи самые противоположные, понятия, друг друга уничтожающие».<sup>18</sup> Нагибину свойственно сопоставлять самые различные ситуации в себе самом и людях: с одной стороны, самый холодный эгоизм, с другой — самая униженная покорность; с одной — возмущающая жестокость, величайшее равнодушие, с другой — великодушие, любовь... Сосуществование умного и глупого, высокого и смешного — «и все это вместе, все рядом и все во имя одного и того же начала добра...».<sup>19</sup>

В отличие от героев Достоевского Нагибин не живет эмоциональной жизнью, не наполнен эстетическими идеалами, его противоречия носят чисто «головной», умственный характер, позволяя герою не погружаться в ситуации, а как бы созерцать их со стороны. И в этом смысле нельзя не отметить полярность двух героев, Парадоксалиста и Нагибина: один из них находится на полюсе субъективистском, другой — на объективистском.

Сближает этих героев то, что оба они апалитики, если воспользоваться определением Достоевского, — «рефлектеры». По признанию Нагибина, «рефлектерство» так уже сжилось с ним, «сдела-

<sup>15</sup> Там же. С. 72—73.

<sup>16</sup> Там же. С. 74.

<sup>17</sup> Там же. С. 182.

<sup>18</sup> Там же. С. 77.

<sup>19</sup> Там же.



лось до такой степени принадлежностью моего существа, что без него и жизнь мне невозможна».<sup>20</sup> «Рефлектерство» парализует его деятельность, превращает героя в существо пассивное, бездейственно созерцающее. С самого рождения замечает в себе Нагибин определенное свойство: «...к чему бы ни обратился, на что бы ни взглянул он, все мгновенно разлагалось бы перед ним на стихийные свои части».<sup>21</sup> Везде он видит лишь грубую и бесформенную грудку самых уродливых мельчайших частиц, все явления жизни в его глазах дробятся и измельчаются.

Парадоксалист Достоевского хотя и совсем в ином аспекте, в субъективистском эмоциональном контексте, но также признает свое бессилие, недобрую волю своего рефлектирующего сознания. Так, утверждая, что прямой, непосредственный плод сознания есть не что иное, как инерция, сознательное сидение сложа руки, Парадоксалист как бы указывает нам на состояние Нагибина, высмеивающего деятельного человека: «Все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограничены <...>, они вследствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают, таким образом, скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, ну и успокоиваются» (5, 108).

Чтобы человек мог действовать, он должен быть спокоен и рассудителен. «Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания?». И, задавая себе этот вопрос, он сам же и отвечает: «Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления» (там же).

Это признание Парадоксалиста совершенно очевидно перекликается со словами Нагибина: «Зачем всякое явление раздвояется в моих глазах; зачем ни на один вопрос не может рассудок мой отвечать откровенно: да или нет; зачем в одно и то же время рождается в моей душе тысяча оправданий и тысяча опровержений?». И, поставив этот вопрос, Нагибин продолжает: «Ваше молодое сердце не может постичь, сколько жгучего страдания в этой странной жизни, где не на чем успокоиться рассудку, где беспрестанно думаешь упираться ногами в землю, и беспрестанно колеблется и уходит она из-под ног!».<sup>22</sup>

Таким образом, и Нагибина, и Парадоксалиста мы можем рассматривать как героев, утративших свою почву, родившихся, по выражению второго, из «реторты». Эту аналогию подтверждают их объяснения о насильственном акте — пощечине или ударе, нанесенных кем-то. Парадоксалист объясняет это «законом природы» — получивший пощечину «без вины виноват» (5, 103).

---

<sup>20</sup> Там же. С. 101.

<sup>21</sup> Там же. С. 137.

<sup>22</sup> Там же. С. 111.



На вопрос Тани: «Если б вас... кто-нибудь ударил... ведь это было бы необходимо... по крайней мере исторически?»,<sup>23</sup> — Нагибин отвечает: «...и черное право, и белое право».<sup>24</sup> Иными словами, пытаясь хладнокровно разобрать дело, он увидел бы, что оскорбление нанесено ему не намеренно, потому и невозможно определить, «кто виноват».

Эти нагибинские утверждения в некоторых моментах почти полностью совпадают со словами Парадоксалиста. Так, например, Парадоксалист говорит о «мышь» (т. е. усиленно мыслящем человеке): если «мышь» обижена, она, разумеется, хочет отомстить своему обидчику, но чем больше в ней накапливается злости, тем более она, вследствие усиленного сознания, отрицает свое право на мщение. «Несчастливая мышь кроме одной первоначальной гадости успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений...» (5, 104).

Таким образом, мы можем наблюдать, как два этих героя порой контрастным способом указывают на весьма близкое внутреннее состояние.

Следует обратить серьезное внимание и еще на одну черту. И Парадоксалист, и Нагибин являются по сути своей романтическими максималистами. Само собой разумеется, мечтательство тесно связано с максималистскими желаниями и ощущениями, являясь своего рода подсознательной компенсацией неудовлетворенных желаний и надежд. По словам Парадоксалиста, «второстепенной роли я и понять не мог и вот именно потому-то в действительности очень спокойно занимал последнюю. Либо герой, либо грязь, середины не было» (5, 133).

Преодолевая таким образом противоречия с действительностью, он погружается в парадоксальное эстетическое ощущение, о котором мы говорили выше, подробно его рассматривая. Нагибин же, наоборот, созерцая узел противоречий, жалуется: «Ужасны не самые лишения <...> ужасно сознание возможности счастья, сознание всей обаятельной сладости удовлетворенной страсти, которое, на горе бедному парию, является воображению его в самые трудные минуты его жизни! Видеть счастье во всей чудной полноте его, осязать руками эту таинственную чашу блаженства <...> и в то же время сознавать, что никогда губы его не прикоснутся к ней, — вот перед чем цепенеет мысль человека, вот где истинное бедствие его положения!».<sup>25</sup>

В связи с этим признанием героя Салтыкова-Щедрина припоминается отрывок из письма Белинского к Бакунину от 16 августа 1837 г., когда великий критик находился под влиянием философии

<sup>23</sup> Там же. С. 92.

<sup>24</sup> Там же. С. 93.

<sup>25</sup> Там же. С. 111.



Фихте и страдал от невозможности «примирения с действительностью». «Жизнь идеальная и жизнь действительная всегда двойлись в моих понятиях: прямухинская гармония и знакомство с идеями Фихте, благодаря тебе, в первый раз убедили меня, что идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота. И я узнал о существовании этой конкретной жизни для того <...> чтобы удостовериться, что только приближение к ее воротам — не наслаждение, не только предощущение ее гармонии и ее ароматов — есть естественно возможная моя жизнь».<sup>26</sup>

Когда Белинский писал эти слова, он, можно сказать, был в состоянии крайней нищеты. В другом месте того же письма он упоминает о том, что не только потонул в долгах, но и просто существует на чужой счет, заботами друзей, подавниями людей, далеко не всегда уважаемых им, благодеяниями кухарки... Он действительно горько переживал свое увлечение философией Фихте и ощущение кричащих противоречий, но довольно скоро Белинскому удалось вырваться из этого тупика на подлинный идейный простор.

Нагибин же, осознав подобное противоречие, выбрал как возможный путь аскетизм. По его убеждению, свобода есть не что иное, как порождение праздной фантазии, «самообольщение горделивого духа нашего», а следовательно, свобода — это «безмолвное повиновение царящему над всем сущим закону необходимости».<sup>27</sup> А согласно этому закону, как понимает его Нагибин, ему самому не разрешено любить женщину, а тем более — жениться на ней. Женщина, по мысли Нагибина, — это предмет роскоши, который может позволить себе только богатый человек, а бедному «такая игрушка непозволительна!».<sup>28</sup>

Трагедия Тани именно в том и состоит, что она полюбила такого человека, как Нагибин. Они были друзьями с детства: Нагибин был гувернером сыновей богатого помещика Крошина, отца Тани. Они увлеклись друг другом, но Нагибин оказался как личность слишком жалким для того, чтобы выйти из метафизического тупика, рассмотрению которого мы посвятили большую часть нашей работы. В конце концов он уезжает в Москву, оставляя Таню другому, угодному ее отцу зятю. Таня заболела из-за пережитого горя, слегла и вскоре умерла. В последние минуты ее жизни Нагибин приезжает к Тане, чтобы услышать от нее последние слова: «Да ты и не виноват <...> ты дал смысл моему существованию, ты был всем для бедной Тани! Притом же ты сам несчастен... я вижу, я понимаю, сколько тягости в этом бессилии... Обстоятельства давят, друг мой, обстоятельства жестоки... а мы не виноваты: что невозможно, то невозможно!».<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 11. С. 175.

<sup>27</sup> Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. Т. 1. С. 105.

<sup>28</sup> Там же. С. 106.

<sup>29</sup> Там же. С. 180 (курсив мой. — Т. К.).



Обратим внимание на тот факт, что героиня проникает в самые заветные глубины психологии любимого человека и при нравственной катастрофе прозревает его «несчастное сознание», что сближает ее с героинями Достоевского — Лизой и Сонечкой Мармеладовой.

В семье Кропиных Таня была одинока, страдала от ощущения своей чуждости, от того, что воспринимала себя лишней в богатом помещичьем доме. В своем дневнике она писала: «Ты одна без дела, ты одна лишняя на свете! Боже мой! да виновата ли я, что у меня связаны руки, что спутано и оцеплено все мое существо?». <sup>30</sup> И именно это ощущение Тани послужило одной из причин сближения героини с Нагибиным. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что у Тани в отличие от него есть внутренняя основа, тот стержень, который составляет основу ее характера, мироощущения, об этом свидетельствуют, например, ее прекрасные воспоминания о детстве, о матери.

И здесь невольно вспоминаются слова Достоевского из его знаменитой речи о Пушкине, относящиеся к Татьяне Лариной: «У ней и в отчаянии и в страдальческом сознании, что погибла ее жизнь, все-таки есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается ее душа. Это ее воспоминания детства, воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась ее смиренная, чистая жизнь <...> Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею. А у него (Онегина. — Т. К.) что есть, и кто он такой?» (26, 143).

Таня у Салтыкова-Щедрина метко указывает причину внутренней омертвелости Нагибина: она состоит в том, что случилось вследствие «каких-нибудь тайных, застаревших ран, уязвленного самолюбия, обманутых надежд и других горестей, которыми так обильно наделена жизнь бедного человека». <sup>31</sup>

Размышляя над этим замечанием Тани, мы снова можем вернуться к гибели молодого художника Пискарева из повести Гоголя «Невский проспект». Не только Парадоксалиста, но и Нагибина мы вправе воспринимать как некую осложненную реминисценцию несчастного Пискарева. В этом смысле особое значение приобретает для нас характеристика Тани: «Что будет! да ведь знаете ли, к чему приведет это заглядывание вперед? Оно приведет к тому, что вы увидите утопающего человека и не спасете его, при всей возможности спасти, *потому что жизнь его, может быть*, преисполнена несчастий и лишений, и, следовательно, спасение послужит только к тому, чтоб вновь возратить его осаждающим со всех сторон преследованиям». <sup>32</sup>

Наивный романтик Пискарев отправился к красавице-проститутке с мыслью спасти ее от гибели и встретил насмешку... Нагибин, постоянно тревожась о будущем, забывает о подлинной действительной жизни... Его жизнь есть не что иное, как «смерть медленная, мучительная, минута за минутой отравляющая

<sup>30</sup> Там же. С. 108.

<sup>31</sup> Там же. С. 147.

<sup>32</sup> Там же. С. 145.



человека», и, по собственному признанию героя, «не лучше ли же разом покончить с собою, нежели это тихое, систематическое самоубийство».<sup>33</sup>

Как жизнь Парадоксалиста не оказалась настоящим преодолением и разрешением несчастья Пискарева, так и жизнь Нагибина не отвечает ни на один из поставленных вопросов. Попробуем сделать предположение такого рода: Нагибин принял любовь Тани, женился на ней. Какой станет его жизнь тогда? Мы можем найти приблизительную модель подобной жизни героя в повести Герцена «Кто виноват?» (1845), в образе Круциферского. (Напомним, что повесть Герцена появилась на два года раньше повести Салтыкова-Щедрина.)

Окружающая обе пары среда схожа, любовь Любоньки и Круциферского, Тани и Нагибина рождается на похожей основе. Что же касается самого сюжета — любовь умной, благородной девушки из помещичьей семьи и гувернера, «маленького человека», то повесть Салтыкова-Щедрина можно воспринять как один из вариантов повести Герцена. Если же мы попытаемся наметить определенный ряд мечтателей, о которых у нас идет речь, Круциферский в этом ряду воспринимается как промежуточное звено между Пискаревым и Нагибиным. В доме помещика Негрова, где поселился Круциферский, любовь вскоре становится для героя «средоточием, около которого расположились все элементы его жизни».<sup>34</sup>

Круциферский настолько далек от всего «земного», бытового, что, не задумываясь о средствах, делает предложение Любоньке и, разумеется, теряет от вопроса Негрова о будущем их устройстве. Затем он получает место учителя в гимназии и женится на Любоньке. Круциферский чувствует себя счастливым, но в этом счастье мучительны для него размышления о будущем, отравляющие жизнь. На бесконечные жалобы героя отвечает другой герой повести, которому Герцен отдает многие свои мысли, — доктор Крупов: «Я со своей стороны скажу, что всю жизнь не понимал да и не пойму эти болезненные воображения, находящие наслаждение в том, чтобы мучить себя грезами и придумывать беды и вперед грустить. Такой характер — своего рода несчастье».<sup>35</sup>

Знаменательным представляется и другое рассуждение доктора Крупова — о склонности к «несчастному сознанию», «неумение жить в настоящем, ценить будущее, отдаваться ему — это одна из моральных эпидемий, наиболее развитых в наше время».<sup>36</sup> Это замечание, можно сказать, проливает свет на психологию Парадоксалиста Достоевского и Нагибина Салтыкова-Щедрина, во многом объясняя нам мироощущение этих героев.

С появлением Бельтова семейное счастье Круциферского разрушается и мрачные предчувствия героя неожиданно оправдыва-

<sup>33</sup> Там же. С. 132—133.

<sup>34</sup> Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1955. Т. 4. С. 51.

<sup>35</sup> Там же. С. 130.

<sup>36</sup> Там же.



ются. Насколько тягостно это для Круциферского, говорит такое авторское замечание: «И наш восторженный мечтатель, сейчас безумный ревнивец, карающий муж, вдруг решился самоотверженно молчать. „Пусть она будет счастлива, пусть она узнает мою самоотверженную любовь, лишь бы мне ее видеть, лишь бы знать, что она существует; я буду ее братом, ее другом!“. И он плакал от умиления, и ему стало легче, когда он решился на гигантский подвиг — на беспредельное пожертвование собою, и он тешился мыслию, что она будет тронута его жертвой; но это были минуты душевной натянутости: он менее нежели в две недели изнемог, пал под бременем такой ноши».<sup>37</sup>

Чтобы осмыслить сам момент перехода от типа личности Круциферского к типу личности Нагибина, целесообразным будет вспомнить слова Нагибина, которые, на наш взгляд, звучат неподдельной иронией по отношению к Круциферскому: «Любить и наслаждаться своею любовью может только человек, вполне обладающий высшим благом в жизни — беспечностью; где есть забота, где сомнение, там нет любви, там есть мгновенная, лихорадочная вспышка, которая иногда удачно пародирует любовь, но не долго, потому что всегда односторонняя и является требованием не цельного организма, а одной какой-либо стороны его».<sup>38</sup>

По отношению к Круциферскому эти слова Нагибина совершенно справедливы. Однако как целое, как определенная система это высказывание страдает односторонностью, в чем мы могли убедиться на примере судьбы самого Нагибина, достаточно подробно нами рассмотренной.

На наш взгляд, несовершенство системы Нагибина выразилось в первую очередь в том, что он рассматривает только один полюс двух противоположных начал; с этого полюса, казалось бы, вполне объективного, легко перейти на другой — крайне субъективный, агрессивный полюс Парадоксалиста, который уже не в состоянии представить себе любовь иначе, чем нравственное превосходство над любимой женщиной и тиранство по отношению к ней.

Итак, мы проследили нравственную, а иногда и физическую, гибель четырех мечтателей: Пискарева, Круциферского, Нагибина, Парадоксалиста, как ряд вариаций, постепенно углубляющих трагизм несчастного сознания. В свете нашего рассмотрения особое значение приобретают слова Достоевского из предисловия к «Запискам из подполья»: «Я хотел вывести перед лицо публики, повиднее обыкновенного, один из характеров протекшего недавнего времени. Это — один из представителей еще доживающего поколения» (5, 99).

Мы рассмотрели здесь, из каких черточек, переосмысленных во времени, складывался этот тип начиная с 30-х гг., как ярче и глубже выявился в нем к годам 60-м трагизм мироощущения и сознания. Настал период активных действий (таковой в русской

<sup>37</sup> Там же. С. 190.

<sup>38</sup> Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. Т. 1. С. 98.



истории является эпоха 60-х гг.), а что же пережил мечтатель? Из героя он превратился в антигероя, по собственному признанию, агрессивный субъективизм победил в нем все прочие черты мирозерцания и психологии.

В заключение хотелось бы сделать одно предположение. 60-е годы XIX в. дали нам новый тип романтического героя, составленный совершенно из иных черт характера, антипод Нагибина и Парадоксалиста. Это герой, живущий стоицизмом, отрицанием корысти ради общего принципа, общественного идеала. Уже не беспристрастный созерцатель, он живет свободно, независимо от обстоятельств, умеет перешагнуть через искусственные барьеры (классовое различие, социальные границы, даже — границы государства). В отличие от подпольного мечтателя он способен ко всему этому не в мечтах, а в действительной, реальной жизни. Кто же этот герой?

Конечно, мы представляем себе при такой характеристике вполне конкретную личность — Рахметова из романа Чернышевского «Что делать?». Он выступает в этом романе под названием «особенного человека» среди «новых людей». Уже по своему происхождению он отличается от своих предшественников — это не «маленький человек», а потомок богатейшего дворянского рода, избравший для себя принципиально иной жизненный порядок, не имеющий ничего общего с жизнью своего класса. Рахметов живет жизнью аскета, оказывает помощь нескольким бедным студентам, предлагает «отцу новой философии» (вероятно, речь идет о Фейербахе) деньги на издание его философских сочинений. Это существенная черта, отличающая Рахметова от наших мечтателей.

Как и Нагибин, Рахметов — стоик. Он говорит о себе: «Я не пью ни капли вина, я не прикасаюсь к женщине».<sup>39</sup> Однако для Рахметова стоицизм имеет принципиально иное значение, чем для Нагибина. «Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью, — говорит он, — мы должны своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не пристрастно, по убеждению, а не по личной надобности».<sup>40</sup>

Для Нагибина стоицизм означает рабство перед обстоятельствами, для Рахметова — забвение собственного «я» во имя счастья людей. Нагибин воспринимает свою жизнь как «умерщвление плоти», а Рахметов активно занимается буквальным «умерщвлением плоти» — спит на гвоздях, не ест белого хлеба, фруктов и т. д.

При сопоставлении Рахметова с Парадоксалистом мы не можем не заметить, что оба они свободны в пространстве, но второй свободен лишь в своих мечтах, в то время как первый действительно свободен. Рахметов в свое время был среди волжских бурлаков и славился прозвищем «Никитушка Ломов» — гигант, обладающий огромной силой. Он свободно перешагивает классовые, социальные

---

<sup>39</sup> Чернышевский Н. Г. Что делать? Л., 1975. С. 206.

<sup>40</sup> Там же.



границы, границы стран, появляясь то в Европе, то в Северной Америке. И в этом смысле он не зависим ни от каких обстоятельств.

Чернышевский хорошо знал, что именно такой романтический тип героя мог быть подлинным идеалом в определенное время. Поэтому повествователь «Что делать?» может позволить себе и некоторую ироничность, шутливость в описании подобного типа: «Да, смешные эти люди, как Рахметов, очень забавны».<sup>41</sup> К тому же повествователь знает, что глаза читателя «не так устроены, чтобы видеть таких людей <...>, они невидимы, их видят только честные и смелые глаза».<sup>42</sup>

Несомненно, что Рахметов в своем роде «прекрасный человек»; именно в таком смысле, в котором рассматривал «прекрасных людей», мечтая о них, Достоевский. Это «цвет лучших людей, — как пишет Чернышевский, — это двигатель двигателей, это соль земли».

Основные качества Рахметова, о которых мы говорили выше, — стоицизм и желание отдать всего себя ради счастья человечества, — это, разумеется, качества идеально прекрасного человека, о котором мечтал Достоевский.

В набросках Достоевского «Социализм и христианство» мы находим слова, относящиеся и ко второй черте, отмеченной нами у Рахметова: «В чем закон этого идеала? Возвращение в непосредственность, в массу, но свободное и даже не по воле, не по разуму, не по сознанию, а по непосредственному, ужасно сильному, непобедимому ощущению, что *это ужасно хорошо*» (20, 192). Для такого идеального человека, личности важно «достигнуть полного могущества сознания и развития, вполне сознать свое *я* — и отдать это *все* самовольно *для всех*» (там же).

Достоевский и Чернышевский 60-х гг. стояли на противоположных во многом идейных позициях. Тем не менее не следует забывать и о том, что оба они — пусть по-разному! — искали идеальный образ будущего. Размышления каждого из них, разумеется, следует рассматривать в контексте их творчества. Но для нас важен не только результат их поисков и находок, но и самое направление движения их мысли.

---

<sup>41</sup> Там же. С. 215.

<sup>42</sup> Там же. С. 214.